



## ГЕРМАН ГЕССЕ

### «Братья Карамазовы», или Закат Европы

#### Раздумья, вызванные чтением Достоевского

Что внутри — во внешнем сыщешь,  
Что вовне — внутри отыщешь.

*Гете. «Эпиррема»\**

Облечь в связную и привлекательную форму мысли, которыми я хочу поделиться, мне не удалось. Нет к этому дарования, вдобавок я считаю своего рода дерзостью, если автор, а так поступают многие, слагает из нескольких своих соображений эссе, с виду законченное и последовательное, меж тем как мысли содержит лишь весьма малая его часть, а намного большая служит для заполнения пустот. Нет, мне, поверившему в «закат Европы»<sup>1</sup>, и прежде всего Европы духовной, нет резона печься о форме, ибо я наверняка усмотрел бы в совершенной форме маскарад и ложь. Скажу, как сам Достоевский в последнем томе «Карамазовых»: «...Вижу, что лучше не извиняться. Сделаю как умею, и читатели сами поймут, что я сделал лишь как умел».

В произведениях Достоевского, и сильнее всего — в «Братьях Карамазовых», то, что я называю «закатом Европы», мне кажется, выражено и предсказано небывало отчетливо. Европейская, и особенно немецкая, молодежь сегодня почитает великим писателем не Гете и даже не Ницше, а Достоевского, и это, на мой взгляд, имеет решающее значение для наших судеб. Обратив на это внимание, в немецкой литературе мы повсюду замечаем попытки приблизиться к Достоевскому, пусть даже они часто остаются подражаниями и кажутся наивными. Идеал Карамазовых, древний, азиатский оккультный идеал, начинает ста-

---

\* Пер. Н. Вильмонта.

новиться европейским, начинает поглощать европейский дух. И это я называю закатом Европы.

Этот закат — возвращение к Праматери, возвращение в Азию, к истокам, к «матерям» из второй части «Фауста», и, разумеется, как всякая смерть в земном мире, оно приведет к новому рождению. И только мы видим в этих процессах «закат», мы, современники, потому что, расставаясь с любимой родиной, лишь старики терзаются печалью и чувством невосполнимой утраты, тогда как молодежь помышляет только о новой, будущей жизни.

Но что это за «азиатский» идеал, который я нахожу у Достоевского и который, как мне кажется, готовится к завоеванию Европы?

В двух словах, это отказ от любой твердо установленной этики и морали в пользу всепонимания, всеприятия, новой, опасной, страшной святости — той, что предрекает старец Зосима, что наполняет жизнь Алеши, что предельно убежденно высказывает Дмитрий и особенно Иван Карамазов.

Для старца Зосимы еще сохраняет главенство идеал справедливости, для него еще существуют добро и зло, вот только любовь свою он дарит, как правило, дурным людям. У Алеши эта новая святость гораздо свободнее и шире, он через любую грязь, какая есть вокруг, проходит непринужденно, почти как аморалист; часто, думая о нем, я вспоминаю благороднейшее обещание Заратустры: «Я дал обет отринуть все мерзостное!»<sup>2</sup> Но — удивительно: у братьев Алеши эта идея проводится еще дальше, они устремляются по этому пути еще решительнее, и вопреки всему часто кажется, что характеры братьев Карамазовых по мере развития действия в этой огромной, толстой, состоящей из четырех частей книге, как бы медленно переворачиваются и все прежде незыблемые устои становятся ненадежными: у инока Алеши мы подмечаем все больше и больше мирских черточек, а в насквозь мирских характерах его братьев — все больше святости, и самый отчаянный и необузданный, Дмитрий, как раз становится самым святым, он глубже и сильнее всех предчувствует новую святость, новую мораль, новое человечество. Это очень странно. Чем неукротимей карамазовщина, чем разгульней порок и пьянство, разнузданность и дикость, тем ярче пробивается сквозь материальную оболочку этих диких явлений, людей и поступков свет нового идеала, тем больше их внутренняя одухотворенность и праведность. И рядом с пропойцей, буяном и убийцей Дмитрием и циничным интеллектуалом Иваном добропорядочные и благопристойные типы прокурора и других обывателей, по мере

своего внешнего торжества, становятся все более тусклыми, пустыми, мелкими.

Следовательно, «новый идеал», угрожающий подсечь корни европейского духа, — это, по-видимому, полная аморальность мыслей и чувств, способность даже в самом дурном, самом безобразном прозревать божественное, необходимое, судьбоносное и ему, дурному, именно ему, приносить дань почтения и служить обедню. Прокурор в длинной речи на суде пытается представить обывателям «карамазовщину» в иронически преувеличенном виде, выставить ее на посмешище, но по существу ничуть не преувеличивает, скорее, его попытка остается крайне робкой.

В этой речи с консервативно-буржуазной точки зрения представлен «русский человек», с той поры вошедший в поговорку, — опасный, трогательный, безответственный и в то же время совестливый, мягкий, мечтательный, и жестокий, и очень ребячливый; «русский человек», которого и сегодня часто так зовут, хотя он, полагаю, уже давно намерен стать европейцем. Он и означает «закат Европы».

Этого «русского человека» надо рассмотреть получше. Он явился гораздо раньше Достоевского, но Достоевский окончательно представил его, показав всему миру его ужасное значение. Русский человек — это Карамазов, это Федор Павлович, это Дмитрий, это Иван, это Алеша. Ибо все четверо, какими бы они ни казались разными, составляют единое целое, все вместе они — Карамазовы, и все вместе — «русский человек», все вместе они — грядущий, уже приблизившийся человек европейского кризиса.

Между прочим, отметим чрезвычайно странную особенность: как показано превращение Ивана из цивилизованного человека в Карамазова, из европейца — в русского, из типа, сформированного историей, — в бесформенный материал будущего! С потрясающей убедительностью, свойственной снам, описано это постепенное скатывание Ивана прочь из светлого, подобного нимбу круга выдержки, разума, холодности и учености, постепенное, страшное, безумно захватывающее нас скатывание самого, казалось бы, респектабельного Карамазова в истерию, в русское, в карамазовщину! Именно он, скептик, в конце концов беседует с чертом! К этой беседе мы еще вернемся.

Итак, суть «русского человека» (который давно уже существует и у нас в Германии) не передать, сказав, что он «истерик», пьяница или преступник, поэт или святой, ее выражает только понятие совмещенного, одновременного наличия всех этих свойств. Русский человек, Карамазов, — убийца и в то же время судья, он

и грубый дикарь, и нежнейшая душа, законченный эгоист и герой, абсолютно способный к самопожертвованию. Подходя с европейской позиции, твердой, моральной, этической, догматической позиции, нам его не раскрыть. В этом человеке уживаются внешнее и внутреннее, добро и зло, Бог и Сатана.

Поэтому снова и снова заявляет о себе карамазовская жажда обретения высшего символа, такого, который был бы им по душе, — им нужен Бог, который был бы одновременно и чертом. Вот этим символом и характеризуется русский человеку Достоевского. Бог, который в то же время дьявол, — это древний демиург. Он был до сотворения мира, он, единственный, обретается по ту сторону противоположностей, для него нет дня и ночи, добра и зла. Он — ничто, и он — Вселенная. Он недоступен познанию, так как мы всё познаем только через противоположности. А мы — индивиды, нам никуда не деться от дня и ночи, тепла и холода, нам нужен Бог и нужен дьявол. По ту сторону противоположностей, нигде и везде, во всей Вселенной может существовать только демиург, Бог, не ведающий добра и зла.

К этому можно бы добавить еще многое, но сказано уже достаточно. Мы поняли сущность русского человека. Этот человек стремится прочь от противоположностей, от свойств, от понятий морали, этот человек готов погибнуть и вернуться туда, где еще нет *principium individuationis* (*принцип индивидуализации* — лат.). Этот человек любит все и ничего не любит, боится всего и ничего не боится, совершает все и ничего не совершает. Этот человек — новое первовещество, бесформенный психический материал. Жить в таком состоянии он не может, а может лишь погибнуть, промелькнуть и исчезнуть.

Этот страшный призрак, этого человека заката вызвал Достоевский. Не раз говорилось, что нам повезло, так как он не написал задуманную серию романов о «Карамазовых», а написал бы — и взорвалась бы не только русская литература, но и Россия, и человечество.

Но нельзя устранить ничего, однажды высказанного, даже если не сделаны окончательные выводы. Существующее, мыслящееся, возможное нельзя изничтожить. Русский человек существует давно, он давно существует и далеко за пределами России, он правит половиной Европы, и взрыв, которого так опасались, отчасти ведь прогремел в последние годы, причем грохот был слышен далеко. Оказывается, Европа устала, оказывается, она хочет вернуться к истокам, отдохнуть, ей нужно новое сотворение, новое рождение.

Здесь мне вспоминаются два высказывания одного европейца — европейца, который в глазах каждого из нас, безусловно, является символом старины, минувшей эпохи, символом Европы погибшей или, по крайней мере, Европы, чье состояние внушало тревогу. Этот европеец — император Вильгельм. А вспоминаются мне слова, написанные им под довольно странной аллегорической картиной: он призывает народы Европы оберегать свое «священное достояние» от опасности, надвигающейся с Востока<sup>3</sup>.

Несомненно, император Вильгельм не отличался большой чуткостью и не был глубоким человеком, однако, как искренний приверженец и защитник старомодного идеала, он до некоторой степени мог предчувствовать опасности, угрожающие этому идеалу. Он был чужд духовности, не читал хороших книг, к тому же слишком усердно занимался политикой. Поэтому свое предостережение народам Европы он сделал, не начитавшись Достоевского, как мы могли бы предположить, — оно возникло, скорее, от смутного страха императора перед народными массами Востока, которые могли хлынуть в Европу, будучи подняты честолюбием Японии.

Сам император очень, очень ограниченно понимал, что он высказал в своем предостережении, и каким поразительно верным оно было. Карамазовых он, разумеется, не знал, так как не любил хорошие, глубокие книги. Но его предчувствие было поразительно верным. Именно опасность, которую он почувствовал, именно эта опасность уже появилась и день ото дня надвигалась на Европу. Имя ее — Карамазовы, их он боялся. Заразы с Востока он боялся, и вполне правомерно, и слабости европейского духа, которая отбросит его назад, заставит припасть к груди азиатской матери.

Другое высказывание императора, которое мне вспомнилось, когда-то меня буквально ужаснуло (не знаю, правда ли это слова Вильгельма или они приписаны ему молвой): «Войну выиграет тот народ, у которого крепче нервы»<sup>4</sup>. Тогда, в самом начале войны, в этих словах я почувствовал первый, отдаленный толчок начинающегося землетрясения. Конечно, император хотел сказать нечто очень лестное для Германии. Надо полагать, сам он был не из слаонервных, как и участники его охот и войсковых смотров. Знал он и залежавшуюся протухшую сказку о погрязшей в пороке Франции и о добронравных чадолюбивых германцах, знал ее и верил ей. Но все остальные, люди знавшие, более того, чувствовавшие, способные предугадать, что ждет нас завтра

и послезавтра, восприняли его слова с ужасом. Ведь они понимали, что у Германии нервы не крепче, а слабее, чем у ее западных противников. В устах тогдашнего вождя нации эти слова прозвучали как свидетельство роковой и страшной заносчивости, слепого устремления навстречу гибели.

Да, нервы у немцев ничуть не лучше, чем у французов, англичан и американцев. Разве что лучше, чем у русских. «С нервами плохо» — так в быту говорят, имея в виду истерию или невроз, *moral insanity* (*душевные болезни — англ.*), эти пагубные явления можно оценивать по-разному, но их совокупность и есть именно то, что я понимаю под карамазовщиной. Для Карамазовых, Достоевского, Азии Германия была бесконечно более уязвимой, более слабой, чем любая другая страна Европы, за исключением Австрии.

Вот и сам император — разумеется, по-своему — предчувствовал закат Европы и дважды его предсказал.

Но совсем иного рода вопрос — как относиться к закату старой Европы. Тут расходятся пути и взгляды. Преданные старине, верные поклонники священной благородной формы и культуры, рыцари надежной морали — все они могут лишь по мере сил препятствовать закату и безутешно оплакивать Европу, когда он настанет.

Для них закат означает конец, для других он — начало. Для них Достоевский — преступник, для других — святой. По их мнению, Европа и ее дух неповторимы, незыблемы, неприкосновенны, как нечто прочное и вечно существующее; по мнению других — переживают становление, преобразуются, вечно изменяются.

Карамазовскую стихию, азиатскую, хаотическую, дикую, опасную, аморальную, можно, как и все на свете, оценивать отрицательно, но можно и положительно. Те, кто весь этот мир Карамазовых, этого Достоевского, этих братьев, этих русских, эту Азию, эти фантазии демиурга огулом отвергают, и клянут, и безмерно всего этого боятся, сегодня в трудном положении, так как «Карамазовы» во всем мире сильны как никогда. Отвергая «Карамазовых», люди совершают ошибку — видят лишь фактическое, явное, материальное. Грядущий «закат Европы» будет, по их мнению, ужасной катастрофой с громами и молниями: революциями с резней и насилием или торжеством преступности, коррупции, воровства, убийств, всех пороков.

Все это возможно, все это несут в себе Карамазовы. Столкнувшись с одним из них, никогда не знаешь, чем он ошарашит тебя в следующую минуту. То ли убийством в пьяной драке, то ли

трогательным славословием Бога. Среди них есть Алеши и Дмитри, Федоры и Иваны. Как мы видели, они характеризуются не свойствами, а способностью в любой миг обрести любое свойство.

Но пугливым не стоит уповать на то, что этот непредсказуемый человек будущего (он уже явился!) способен творить добро, а не только зло, способен основать как новое царство дьявола, так и новое царство Божие. Карамазовым мало дела до всего, что двигают или ниспровергают в земной жизни. Их тайна в чем-то другом, а равно и ценность, и плодотворность их аморальности.

Ведь, по существу, эти люди отличаются от других — прежних, порядочных, понятных и честных людей — лишь тем, что они живут равным образом и внешней, и внутренней жизнью, и тем, что их постоянно занимает собственная душа. Карамазовы способны на любое преступление, но совершают его лишь в исключительных случаях, в целом же им вполне достаточно мысли, мечты о преступлении, ощущения его возможности. В этом их тайна. Поищем для нее выражение.

Всякая формация, всякая культура, всякая цивилизация, всякий порядок основаны на соглашении о дозволенном и запрещенном. На своем пути от животного к далекому человеку будущего, каждый из нас, людей, должен постоянно подавлять в себе, скрывать, отрицать многое, бесконечно многое, чтобы оставаться приличным малым и порядочным членом общества. В человеке столь много от зверя, столь много первобытности и мощнейших, едва сдерживаемых инстинктов звериного, жестокого эгоизма. Все эти опасные инстинкты в нас живы, они всегда живы, но культура, соглашение людей, цивилизация заставили их скраться; эти инстинкты никогда не выставляют напоказ, мы с детства приучаемся таить их и отрицать. Но каждый из этих инстинктов однажды снова выходит на свет. Они, все, живут, ни один не бывает умерщвлен, не бывает и преобразован и облагорожен надолго или навсегда. И сам по себе любой из этих инстинктов хорош, он не хуже других, однако каждая эпоха и каждая культура считает некоторые инстинкты особо опасными и презирает сильнее всех прочих. Проснувшись, они превращаются в силы, которые не находят выхода, которые лишь поверхностно и с мучительным трудом удается укротить, они рычат и мечутся, точно звери, ревут, точно рабы: долгое время жестоко угнетавшиеся и вконец истощенные плетьюми, они восстают, пылая первобытным природным жаром, — и тут появляются Карамазовы. Если культура, то есть старания усмирить зверя в человеке, слабеет, лишается

упорства, — мы видим все больше людей странных, истеричных, с диковинными прихотями, похожих в этом смысле на подростков в период созревания или на беременных женщин. Их душу терзают порывы, безымянные, порывы, которые надлежало бы, руководствуясь старой культурой и старой моралью, назвать дурными, но которые заявляют о себе столь громко, столь безыскусно и невинно, что всякое понятие добра и зла становится сомнительным и любой закон теряет прочную основу.

Такие люди — братья Карамазовы. Они с легкостью сочтут условностью любой закон, а любого законопослушного человека — узколобым обывателем, они чрезмерно высоко ценят любую свободу и неординарность, они самовлюбленно прислушиваются к самым разным голосам, звучащим в их собственном сердце.

И все-таки хаос, царящий в этих душах, не обязательно рождает преступления и смуту. Получив новое направление, новое имя, новую оценку, вырвавшийся на свободу первобытный инстинкт становится ростком новой культуры, нового порядка, новой морали. Да, таково положение дел в любой культуре: мы не можем уничтожить древние инстинкты, убить в себе зверя — умрут они, значит, умрем и мы. Но можно в какой-то мере направить их, отчасти усмирить, заставить служить «добру», как заставляют норовистого жеребца тянуть воз. Впрочем, со временем сияние «добра» тускнеет и меркнет, вера в него иссякает, инстинкты перестают слушаться узды. В такие времена культура рушится. Не вдруг, бывает, что ее гибель затягивается на столетия, как было с культурой, которую мы зовем «античной».

Но на стадии, предшествующей смене старой, умирающей культуры и морали новыми, на этой неопределенной, опасной, болезненной стадии, человек должен снова заглянуть в свою душу, увидеть, как там, в глубине, вздымается зверь, увидеть в себе самом буйство первобытных, чуждых морали сил. Обреченные, избранные, созревшие и предопределенные к этому люди — Карамазовы. Они истеричны и опасны, они одинаково легко становятся и преступниками, и аскетами, у них нет иной веры, кроме веры безумцев, — в сомнительность всякой веры.

Любой символ имеет сотни толкований, любое толкование может быть верным. У Карамазовых также сотни толкований, и мое — лишь одно из них, одно из сотни. В канун великих переворотов человечество создало в этой книге символ, сотворило образ, подобно тому, как отдельный человек в своих снах создает образы своих противоборствующих и уравнивающих друг друга инстинктов и сил.



То, что некий отдельный человек смог написать «Карамазовых», — чудо. Что ж, чудо свершилось, и потребности в его объяснении нет. Но определенно есть потребность, очень глубокая потребность, истолковать это чудо, прочесть весь текст предельно полно, предельно всесторонне, предельно глубоко постигая его светлую магию. Мой же текст — лишь мысль, взгляд, соображение о нем, и не более того.

Ни в коей мере я не предполагаю, что все мысли и соображения, высказанные здесь, сознательно имел в виду сам Достоевский! О нет, ни один великий провидец и сочинитель никогда не умел до конца истолковать свои видения!

И наконец, я хотел бы не только упомянуть этот тревожный, опасный момент неизвестности на переходе между ничто и всем, но и кратко описать, каким образом в этом мифическом романе, в этом сне человечества, воссоздан порог, который ныне переступает Европа, и, кроме того, отметить присущее всей этой книге ощущение и предчувствие богатых возможностей нового.

В этом отношении особенно удивительна фигура Ивана. Вначале перед нами современный, благоразумный, культурный человек, холодноватый, разочарованный, слегка скептически настроенный, слегка пресыщенный. Но мало-помалу он становится моложе, горячее, значительнее, в нем все больше карамазовского. Это он — автор поэмы о Великом Инквизиторе. Это он от холодной неприязни, даже презрения к убийце, каковым он считает своего брата, приходит к глубокому чувству собственной вины и казнится ею. И он же крайне ярко и совершенно необычайно переживает душевный процесс столкновения со своим бессознательным. Вокруг этого все и вертится! В этом и состоит смысл заката старого мира и рождения нового!) В последней книге романа есть на редкость странная глава, в которой Иван, вернувшись от Смердякова, обнаруживает у себя дома черта и долго беседует с ним. Черт — не что иное, как бессознательное Ивана, всколыхнувшаяся масса куда-то канувших и, казалось бы, забытых душевных переживаний. И Иван это сознает с удивительной ясностью и заявляет об этом вполне внятно. Но ведь он разговаривает с чертом, ведь он верит в него — ибо что внутри, то и снаружи! — он возмущается, негодует и даже швыряет стакан в черта, хотя сознает, что тот — в нем самом. Думаю, нигде во всей художественной литературе диалог человека с образом его бессознательного не воссоздан более ясно и наглядно. Этот разговор с чертом, эта готовность Ивана (несмотря на раздражение) искать с ним взаимопонимание — и есть тот путь, который Карамазовы

призваны указать нам. В романе Достоевского бессознательное пока еще является в образе черта. Это правильно, так как усмиренный, культурный и нравственный человек все вытесненное и живущее в его подсознании полагает сатанинским и ненавистным. Но, например, соединив черты Ивана и Алеши, мы получили бы уже более высокую, более плодотворную позицию, которая и создает почву для грядущего нового. И тогда бессознательное станет уже не чертом, а богочертом, демиургом, который был всегда, который рождает все. Заново установить понятия добра и зла — задача не Вечного, не демиурга, это дело человека и его богов, что помельче.

Не одну страницу можно было бы посвятить здесь еще одному, пятому Карамазову, ибо он играет в книге важную, причем жуткую роль, хотя и остается в тени. Смердяков, незаконнорожденный Карамазов. Это он убил старика. Он убийца, верящий в Бога вездесущего. Это он может наставить в божественных и самых жутких вопросах даже такого образованного и знающего Ивана. Он самый хилый и болезненный и в то же время — самый знающий из всех Карамазовых. Но в этом очерке недостаточно места, чтобы воздать по заслугам также и ему, самому жуткому Карамазову.

Книга Достоевского неисчерпаема. Я мог бы целыми днями искать и находить в ней все новые черты, свидетельствующие все о том же. Одна из них, прекрасная, даже восхитительная, только что пришла мне на ум: истеричность матери и дочери Хохлаковых. Карамазовская стихия, зараженность всем новым, болезненным, дурным, воплощена здесь в двух фигурах. Мать — просто больная женщина. У этой натуры, прочно укорененной в традиции и старине, истерия не переходит границ болезни, слабости, глупости. Но у ее великолепной дочери уже не упадок сил, а избыток их, нереализованные возможности оборачиваются истерией и проявляются как болезнь.

Переживая сложное время между детством и зрелостью, в опасных, болезненных чудачествах и фантазиях дочь идет гораздо дальше, чем заурядная мать, и все-таки даже самые ошеломляющие, самые злые и бесстыдные выходки дочери отличают невинность и сила, которые определенно обещают плодотворное будущее. Мать Хохлакова — истеричка, ее впору отправлять в санаторий, вот и все. Дочь — нервнобольная, и в ее болезни проявляются благороднейшие, но подавленные порывы.

И что же, эти-то процессы в психике вымышленных книжных персонажей якобы означают закат Европы?!

Несомненно. Они — такие же знаки его, как весной любая травинка, если на нее устремлен взор человека духовно зоркого, — знак жизни и ее вечности, а сорванный ноябрьским ветром листок — знак смерти и ее неизбежности. Возможно, весь «закат Европы» будет «только» внутренним, перевернет «только» душевную жизнь одного поколения и не пойдет дальше переосмысления обветшавших символов, переоценки ценностей. Что ж, причиной гибели античности, этой первой блистательной формы европейской культуры, был не Нерон, не Спартак, не германские племена, а «только» принесенный из Азии росток мысли, простой, древней, бесхитростной мысли, которая зародилась гораздо раньше, но лишь в ту эпоху приняла форму учения Иисуса.

Если кому-то угодно, вполне можно изучать «Карамазовых» и как явление литературы, «как художественное произведение». Если бессознательное целого континента и целой эпохи явилось кошмарным вещим сном пророку-сновидцу и исторгло у него жуткий хриплый вопль, то, разумеется, можно изучать этот вопль и вооружившись критериями учителя пения. Вне всякого сомнения, Достоевский был, помимо прочего, высокоодаренным писателем, несмотря на чудовищные огрехи, какие можно найти в его книгах и каких не бывает, например, у Тургенева, значительного писателя, но только писателя. Пророк Исайя также весьма одаренный писатель, но это ли важно? У Достоевского, и в частности в «Карамазовых», встречаются почти неестественно безвкусные места, каких никогда не найдешь у художников слова, они, впрочем, попадают лишь там, где и автор, и читатель уже по ту сторону искусства. И все-таки этот русский пророк вновь и вновь заявляет о себе как художник, как художник мирового уровня, и испытываешь странное чувство, подумав о том, что в те годы, когда он уже написал все свои книги, великими европейскими писателями считались у нас совсем другие авторы.

Впрочем, я уклонился от темы. Я хочу сказать: быть может, чем меньше черт художественного произведения в подобной книге о мире, тем более истинны ее пророчества.

И все равно, даже «романное», даже фабула, «вымысел» «Карамазовых» говорят столь много, сообщают о столь важном, что мне кажется — это не что-то намеренное, не вымысел какого-то человека, не произведение писателя. Один пример, — но им все сказано: главное в романе то, что Карамазовы невиновны!

Карамазовы, все четверо, отец и сыновья, — подозрительные, опасные, ненадежные люди, у них странные порывы, странная совесть и странная бессовестность, один — пьяница, другой —

развратник, третий — фантазер, чуждый мирской суеты, наконец, четвертый — потаенный сочинитель богохульных писаний. Большая опасность таится в них, в этих странных братьях, они таскают за бороду случайных встречных, бросают на ветер чужие деньги, кому-то угрожают убийством, — и все же они невинновны, и все же они, все четверо, не совершили ничего действительно криминального. Убийцы во всей этой большой книге, где речь идет почти сплошь об убийствах, воровстве и виновности, убийцы и виновные в убийстве — только прокурор и присяжные, только эти представители старого, доброго, проверенного временем порядка, безупречные граждане и люди. Они выносят приговор невинному Дмитрию, они издеваются над его уверениями в невинности, они — судьи, они по своему закону судят Божий мир. Они — те, кто пребывает в заблуждении и совершает страшную несправедливость, они-то и становятся убийцами — из душевной черствости, трусости, тупой ограниченности.

Это не вымысел, и уж точно не литература. Тут нет бьющей на эффект изобретательности, как в детективных романах (а книги Достоевского являются и таковыми), нет и сатирической остроты благоразумного автора, который, засев в укрытии, разыгрывает из себя критика общественных порядков. Все это мы слышали, нам этот тон знаком, и он давно не внушает нам доверия! Здесь — другое: у Достоевского невинность преступников и вина судей не служит неким хитроумным сюжетным построением, а является ужасным фактом, он возникает в тайных глубинах, зреет исподволь и почти внезапно, чуть ли не в последней книге романа вырастает перед нами, словно каменная стена, словно вся боль и вся бессмыслица мира, все страдание и безрассудство человечества!

Я сказал, что Достоевский, собственно говоря, не писатель, или, что не это в нем главное. Я назвал его пророком. Трудно объяснить, что это, собственно, значит — пророк! Мне кажется, вот что: пророк — это больной человек, и Достоевскому действительно была свойственна истероидность, доходившая почти до эпилепсии. Пророк — особого рода больной, утративший здоровое, позитивное, благодетельное чувство самосохранения — сущность всех буржуазных добродетелей. Таких людей не должно быть много — не то наш мир разнесет в щепки. Больной такого рода, как бы его ни звали — Достоевский, Карамазов, либо еще как-то, — наделен странным, тайным, болезненным, божественным даром, за что в Азии безумцев глубоко почитают. Он предсказатель будущего, ведающий. Народ, эпоха, страна, часть све-

та сформировали пророка как свой особый орган чувств, вроде щупальца, странный, немислимо нежный, немислимо благородный, немислимо уязвимый, страдающий орган, какого у других людей нет, вернее, у других людей, на их счастье, он остался недоразвитым. Это мантическое осязание не следует понимать примитивно, считая глупостью вроде телепатии или трюком, хотя этот дар, конечно, может проявляться и в подобных диковинных формах. Вернее будет сказать, что подобный «больной» истолковывает движения своей души в обобщенном и общечеловеческом смысле. У всех людей бывают видения, у всех людей есть фантазия, все люди видят сны. И любое видение, любой сон, любая фантазия и мысль на своем пути из нашего бессознательного в наше сознание может претерпеть тысячи различных толкований, и каждое из них может быть верным. Провидец и пророк не истолковывает свои видения в перспективе своей личной судьбы, и свой страшный сон он понимает не как предостережение о личной болезни, личной смерти, а как весть о грядущей гибели всего целого, чьим органом, щупальцем, он является. Этим целым могут быть семья, партия, народ, а может быть все человечество.

Свойство, которое мы обычно называем истеричностью, то есть определенная болезнь и вызванная ею повышенная способность к страданию, у Достоевского обрело орган и голос, стало стрелкой барометра всего человечества. И скоро оно это заметит. Уже половина Европы, по меньшей мере, половина восточной Европы, скатывается в хаос, в священном безумии мчится по самому краю бездны, да еще поет — пьяно распевает гимны, как пел Дмитрий Карамазов. Обыватель при звуке этих песен смеется, кривясь от негодования, святой и провидец слушает их со слезами.

